

УДК 821.161.1

DOI: 10.25688/2619-0656.2020.14.02

«СТАНСЫ» КАК ЖАНРОВЫЙ ИНВАРИАНТ: А. С. ПУШКИН И О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

“STANZAS” AS A GENRE INVARIANT: A. S. PUSHKIN AND O. S. MANDELSTAM

Сергей Борисович Калашников
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия

Sergei Borisovich Kalashnikov
Moscow City University,
Moscow, Russia

Аннотация

На основе прецедентных текстов А. С. Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») и «Друзьям» в статье реконструируется инвариантная схема данной жанровой разновидности как модель отношения поэта к власти и современности. В качестве парадигмальных структур рассматриваются не только внутритекстовые смысловые связи, но и сценарии публичного поведения поэта в московском локусе как «эпицентре власти». На основании реконструированной модели выявляются типологические соответствия между художественными стратегиями А. С. Пушкина и О. Э. Мандельштама периода написания воронежских (1935) и савёловских (1937) «Стансов».

Ключевые слова: стансы, инвариант, поэзия, власть, Пушкин, Мандельштам.

Abstract

Based on the precedent texts by Alexander Pushkin, “Stanzas” (“In the hope of fame and good ...”) and “To Friends”, the article reconstructs the invariant scheme of this genre variety as a model of the poet’s relationship to the authorities and his time. One of the reasons why Pushkin’s “Stanzas” and “To Friends” are perceived as a paired unity and genre invariant is that in both texts the ultimate concentration of combinatorial possibilities of interaction between the poet and the authorities is reached: “true poet + true king”, “true poet vs false king”, “true king + false poet”, “false poet + false king”. In addition, “Stanzas” as a genre invariant presupposes not only the realization of a certain group of artistic meanings, through which the poet’s attitude to his

time and authorities is expressed, but also includes an obligatory model of the corresponding public behavior, firstly, in Moscow as the center of power and, secondly, in the fundamental capacity of the main poet of the era — the God-chosen singer-prophet, who has the exclusive right to legitimize or discredit the image of the ruler and the existing state order. Also, in the biographical subtext of the invariant, the motive of unfulfilled hopes and disappointment in the “new reality” was originally incorporated.

A century later, Osip Mandelstam builds his relations with his time in accordance with this genre invariant in “Voronezh Stanzas” (1935) and “Savyolovo Stanzas” (1937). At a deep level, the author reproduces scenarios of Pushkin’s literary and life behavior (“miraculous” pardon after the first arrest), deliberately builds biographical analogies to them in relations with the official authorities (a hypothetical meeting with Stalin), carries out the distribution of key meanings and assessments within the framework of the original Pushkin paradigm — not only artistic, but also behavioral, which testifies to the conscious positioning of himself as Pushkin’s successor in the public, ideological and state space.

Key words: stanzas, invariant, poetry, power, Pushkin, Mandelstam.

Введение

Цель: реконструировать инвариантную схему жанра «Стансов» на основе прецедентных словесных и поведенческих текстов А. С. Пушкина и выявить реализацию ее парадигмальных смыслов в произведениях О. Э. Мандельштама 1935 и 1937 гг.

Методология. Исследование строится на использовании трех методов: 1) сравнительно-исторического, с помощью которого устанавливается типологическое сходство поэтических произведений, созданных в жанре «стансов» в диахроническом аспекте; 2) структурного метода, благодаря которому осуществляется реконструкция инвариантной жанровой схемы «Стансов» в русской поэтической традиции; 3) семиотического метода, который позволяет включить в жанровую парадигму семиотику общественно-политического поведения рассматриваемых авторов, а также специфические пространственно-культурные параметры «московского текста».

Материал исследования. В статье анализируются тексты А. С. Пушкина 1826–1828 гг. («В надежде славы и добра...» и «Друзьям») и произведения О. Мандельштама 1935–1937 гг., объединенные жанровым обозначением «Стансы», а также факты творческой истории произведений и биографические сведения.

Основная часть

«Стансы» А. С. Пушкина как жанровый инвариант

Проблема взаимоотношений властителя и поэта на протяжении более чем трех столетий в русской национальной картине мира воспринима-

ется как парадигмальный сюжет. Соперничество этих инстанций в своих фундаментальных онтологических глубинах представляет спор о власти в качестве главного координатора всего сущего, поэтому взаимодействие рассматриваемых культурных величин может быть интерпретировано как паттерн встречи духовной и мирской власти, претендующих на абсолютную авторитетность высказывания и максимальную легитимацию собственного слова.

Особенную актуальность для русской поэзии указанная парадигма приобретает в пушкинское время, хотя ее разрозненные рефлексии обнаруживают себя в литературе и предшествующего столетия. Но именно в творчестве А. С. Пушкина, усиленная художественными смыслами и подкрепленная сюжетами собственной биографии, она приобрела свойства инвариантной схемы, с определенной регулярностью и вариативностью воспроизводимой не только самим поэтом, но и теми русскими авторами, которые вольно или невольно интегрировали свое творчество и жизненные обстоятельства в сюжет отношений с государственной властью.

Одной из реализаций этого метасюжета в творчестве А. С. Пушкина становятся написанные в 1826 г. «Стансы», которые «<...> в любой исследовательской интерпретации сохраняют имманентно присущую им идейно-содержательную основу: декларацию отношения поэта к существующей власти» [Пяткин: 153], и примыкающее к ним стихотворение «Друзьям» (1828). Оба текста воспринимаются как своеобразное парное единство и давно стали своеобразным «топосом» исследовательской литературы о поэте. Как справедливо отмечает в обзоре основных точек зрения и этапов исследования этих произведений Н. И. Михайлова, «<...> нет ни одной монографии о жизни и творчестве Пушкина, ни одной статьи о его возвращении в Москву из Михайловской ссылки, где так или иначе не шла бы речь об этих стихотворениях» [Михайлова: 31].

Особая значимость этих текстов как смыслового целого для русской поэтической традиции подтверждается тем, что они становятся особой смыслопорождающей моделью, по аналогии с которой выстраивают свое отношение к официальной власти крупнейшие авторы XX столетия — С. Есенин, Б. Пастернак, О. Мандельштам. Причем инвариантность этих двух пушкинских стихотворений осознается не только на уровне воспроизведения заглавия, определенных мотивных комплексов или метрико-ритмического рисунка, но также обязательной «парности» текстов, образующих единый жанрово-семантический ореол: пушкинская прецедентная схема включает в себя стихотворение «Друзьям» (1828), которое выступает в качестве своеобразного комментария к «Стансам» (1826) и образует с ними общий парадигмальный код отношения поэта к власти. По-своему вторят ей и авторы XX столетия: осенью 1924 г. Есенин пишет «Стансы» с посвящением *другу* (здесь и далее курсив наш. — С. К.) Петру Чагину, а затем

стихотворение «1 Мая» (1925), начало которого воспринимается как парафраз пушкинского послания; Пастернак сперва публикует в «Новом мире» стихотворение «Другу» (1931, № 4), а потом — «Столетье с лишним — не вчера» (1932, № 5); Мандельштам создает в мае-июне 1935 г. воронежские «Стансы», а затем в начале июля 1937 г. — савёловские, обращенные к Е. Е. Поповой — доверенному лицу из ближайшего окружения поэта.

Говоря о «Стансах» и стихотворении «Друзьям» как жанровом инварианте, важно понять, почему именно эти произведения Пушкина воспринимались последующей лирической традицией как смыслопорождающая модель и исходная матрица для последующих семантических вариаций, ведь сами по себе они не являются вполне прецедентными и обнаруживают мощное разноуровневое интертекстуальное влияние произведений Жуковского и Державина [Проскурин: 267–268]. Как представляется, уникальность этих стихотворений в творчестве А. С. Пушкина определяется тем, что в них оказались реализованы *все возможные*, в отличие от предшественников, схемы взаимодействия поэта и властителя. К моменту написания «Стансов» и примыкающего к ним тематически стихотворения «Друзьям» пушкинский метасюжет «Поэт — Царь» включал в себя две активные инвариантные схемы, реализованные в целой группе текстов — начиная с инвектив в адрес Александра I и заканчивая «Борисом Годуновым»:

- **истинный поэт vs самозванный царь**: данная вариативная схема строится на сюжете распознавания поэтом ложного государя и предполагает обличение его несправедливой власти с целью дискредитации в глазах сообщества;
- **самозванный поэт + самозванный царь**: совмещение двух видов ложной власти приводит к самым катастрофическим последствиям в жизни сообщества — природным и социальным катаклизмам, иноземным вторжениям и потере национальной идентичности [Калашников 2012: 127–128].

К этим инвариантным моделям взаимодействия в «Стансах» и «Друзьях» добавляются еще две схемы, восполняя пушкинский метасюжет «Поэт — Царь» до предела возможных семантических модуляций:

- **истинный поэт + истинный царь**: единство этих двух властных инстанций, духовной и мирской, удваивало упорядоченность связей внутри сообщества, обеспечивало благоденствие и процветание, образовывало модель сакрального единства двух «ветвей» власти — духовной и светской;
- **истинный царь + самозванный поэт**: опасность такого взаимодействия предопределяет превращение истинного государя в узурпатора трона, лишённого главных качеств в пушкинской этической системе ценностей — нравственного достоинства и способности к милости,

что неминуемо ведет к разрушению всех видов упорядоченностей в сообществе и грозит ему гибелью.

На текстовом уровне лирический сюжет пушкинских «Стансов» выстраивается в соответствии с вариативной схемой **«истинный поэт + истинный царь»**, когда подлинный поэт призывает государя к необходимости проявления милости по отношению к «падшим» для легитимации своей власти в качестве санкционированной свыше [Калашников 2018: 15–16]. В то же время Пушкиным, за счет подтекстового противопоставления Петра Великого и Александра I, осуществляется актуализация еще одной схемы — **«истинный поэт vs самозванный царь»**. Вторично легитимность власти нового царя подтверждается в стихотворении «Друзьям», где начальные пять строк реализуют сюжетную схему взаимодействия истинного царя и истинного поэта, в которой модель сакрального единства поэзии и власти оказывается установлена, что сулит государству процветание и благополучие, а смысловой альтернативой этого сценария отношений поэзии и власти становится схема **«истинный царь vs самозванный поэт»**, описывающая механизм разрушения сакрального единства в связи с приближением к престолу поэта-льстеца, который собственный самозванный *indigenat* распространяет на имидж государя, дискредитирует его и низводит до статуса неистинного царя (актуализация схемы **«самозванный поэт + самозванный царь»**):

Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит [Пушкин 1959: 196].

Таким образом, одна из причин, по которой «Стансы» и «Друзьям» Пушкина воспринимаются парным единством и жанровым инвариантом, заключается в том, что в обоих текстах оказывается достигнута предельная концентрация комбинаторных возможностей взаимодействия поэта с властью. Второй немаловажной причиной становится стратегия публичного поведения автора, сопровождающая и многократно усиливающая семантику рассматриваемых текстов. Пушкинский парадигмальный код отношений с властью предполагает обязательное включение в него в качестве равноправно значимого компонента семиотику общественного самопозиционирования поэта, когда факты биографии или ситуативные поведенческие сценарии подвергаются переинтерпретации с точки зрения собственных творческих установок — и «авторская репрезентация художественного произведения в этих условиях как бы приравнивается к некоторому публичному поступку» [Немировский: 5].

Чрезвычайно важным нам представляется то обстоятельство, что написанию обоих стихотворений предшествовал длительный период напряженных исканий Пушкиным новой поэтической идентичности. Решающими для ее обретения оказались годы Михайловской ссылки и написание ключевых для данного периода текстов — «Андрея Шенье» и «Бориса Годунова». Именно в 1825 г. оказался запущен тот «сценарий судьбы», который окончательно переводит Пушкина из разряда «легких» поэтов «арзамасской школы» и «байронического направления» в образ профетически одаренного поэта-пророка. В частности, В. И. Немировский, рассуждая о кардинальных переменах в жизни Пушкина после сентября 1826 г., указывает на то, «<...> какое большое значение поэт придавал своему профетическому дару и насколько важно было для него, в качестве демонстрации этого дара, читать публике не пропущенные цензурой строфы “Шенье”, где поэт предсказал смерть своего гонителя — императора Александра и по поводу каковых Пушкин восклицал: “Я пророк, ей богу, пророк”. Трудно отказаться от мысли, что написанный за два года до разговора с императором Николаем “Воображаемый разговор с императором Александром” также укреплял Пушкина в этом ощущении» [Немировский: 213].

В предельно редуцированном виде регламент взаимодействия с властью, предшествовавший написанию «Стансов» и «Друзьям», может быть сведен к следующим отрефлексированным самим Пушкиным и подвергнутым поэтической аутомифологизации компонентам:

- 1) несправедливая ссылка в Михайловское (см. письмо Пушкина к А. А. Дельвигу от февраля 1826 г.: «Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог добродетельствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам <...>» [Пушкин 1962: 224];
- 2) написание «пророческого» текста «Андрея Шенье» о скором мятеже и смерти тирана (Александра I);
- 3) сам мятеж, «в кипятюк» которого поэт едва не окунулся, но был спасен Провидением против своей воли;
- 4) казнь и ссылка участников беспорядков и подозрения со стороны правительства в соучастии в заговоре;
- 5) личная встреча с новым государем 8 сентября 1826 г. и получение прощения с обещанием не читать публично «предосудительных стихов», т. е. не пропущенных цензурой строф «Андрея Шенье», ходивших в обществе в виде отдельного списка, озаглавленного «На 14 декабря»;
- 6) написание стихотворения «Стансы» с признанием легитимности новой власти;

- 7) отведение упреков в сервеллизме в стихотворении «Друзьям» и обозначение своего статуса в качестве «небом избранного певца», который «языком сердца говорит».

Однако пушкинские «Стансы» своей цели не достигли. Если лояльность Пушкина к новой власти сомнений не вызывала, то встречные действия со стороны ее структур и самого суверена оказались двусмысленными: поэт был выслушан, но «падших» миловать не стали, ссылка закончилась, но разбирательства по делу об «Андрее Шенье» продолжились, и даже дружба, предложенная государем, превратилась в цензурную зависимость от решений гр. А. Х. Бенкендорфа. Эта двусмысленность, порожденная ответными действиями властей, и вызвала необходимость объяснения с друзьями и сообществом, и попытка эта тоже оказалась интерпретирована неверно. Словом, искренние надежды на понимание со стороны общества и власти в полной мере не оправдались: Пушкина заподозрили в двуличии даже всегдашние единомышленники. К их числу принадлежит, например, кн. П. А. Вяземский, сношения с которым из-за написания «Стансов» прервались на полтора года. Кроме того, хорошо известен отзыв Н. М. Языкова о «Стансах» в его письме к брату А. М. Языкову от 20 ноября 1827 г.: «Стансы его слишком холодны» [Летопись: 320], — и его же еще более резкий отзыв о стихотворении «Друзьям»: «Просто дрянь: этими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь» [Эйдельман: 115]. Не остался в стороне и П. А. Катенин, назвав «Стансы» в письме к Н. И. Бахтину от 17 апреля 1828 г. «плутовскими» [Летопись: 372]. Собственно, итоговое разочарование, сменившее первоначальное воодушевление и «исторический оптимизм», также становится неотъемлемым оценочно-смысловым компонентом жанрового инварианта «Стансов». Более того, именно оно вынесено в его конечную, т. е. обладающую повышенной степенью значимости, позицию.

Существенным является и то, что критический момент в жизни Пушкина совпадает с эпохально напряженным моментом в жизни страны, а преодоление личного и исторического «смутного времени» оказывается связано с глубоким переосмыслением положения поэта по отношению к обществу и власти, окончательно закрепленным в стихотворении «Пророк». Именно поэтому «все три стихотворения, предназначавшиеся для публикации в “Московском вестнике” (“Стансы”, “Друзьям” и “Пророк”. — С. К.), образовали некий цельный сюжет о взаимоотношениях Поэта с обществом, властью и Всевышним» [Немировский: 257] и утверждали Пушкина в статусе «небом избранного певца», т. е. главного и единственного Поэта современности.

И здесь получает особую актуализацию еще один важный и едва ли не «провиденциальный» параметр пушкинского жанрового инварианта — его семантические модуляции связаны с образом Москвы как многове-

ковым средоточием государственной власти: в Успенском соборе московского Кремля с 1584 г. осуществлялся обряд венчания на царство всех русских самодержцев. Именно в древнюю столицу будет вызван Пушкин из Михайловской ссылки для аудиенции с государем Николаем Павловичем, которая состоится через 5 дней после коронационных мероприятий 3 сентября 1826 г. Именно в Москву 12 марта 1918 г. будет окончательно перенесена из Петрограда столица большевистского государства, что придаст парадигме отношений русских поэтов XX в. с властью дополнительное, в некотором смысле предопределенное пушкинскими «Стансами», смысловое измерение: сакральный центр новой советской власти топографически совпал с исконным центром русской державности, и его сердцевиной, как и в предшествующие столетия, стал именно Кремль. Вот почему московский контекст «пушкинских» стихотворений Пастернака и Мандельштама воспринимается как общегосударственный, а самоопределение в оценке официальной власти приобретает исключительную социально-политическую значимость. В этом смысле есенинские «Стансы», созданные и впервые опубликованные на дальней периферии культурно-государственного пространства (написаны не позднее 2 октября 1924 г. в Баку, впервые были прочитаны 3 октября там же, а опубликованы в Тифлисе в газете «Заря Востока» за 26 октября того же года; первая публикация в столичном журнале «Красная нива» состоялась только в № 5 за февраль 1925 г.), где тяготение сакрального центра менее ощутимо, не произвели на современников такого ошеломительного эффекта, как «Стансы» Б. Пастернака, опубликованные в майском номере «Нового мира» за 1931 г. В частности, Лидия Гинзбург в дневнике 1932 г. по поводу этих стихов поэта отмечает: «Стихи страшные своей смелостью, с которой он берет на себя ответственность за пушкинские “Стансы”. “Стансы”, опозоренные замалчиванием, оправдыванием, всеми подозрениями, он поднимает на высоту новой политической мысли. Первое отпущение греха, возникшее из глубины нашего опыта. Впервые сострадательная и товарищеская рука коснулась того страстного, остросоциального желания жить, а тем самым оправдывать жизнь, которым так трагичен Пушкин конца 20-х годов» [Кушнер]. В ситуации Мандельштама предыстория написания сначала воронежских, а потом и савёловских «Стансов» напрямую связана с его пребыванием в Москве в ноябре 1933 г., о чем подробнее будет сказано ниже.

Таким образом, «Стансы» как жанровый инвариант предполагают не только реализацию определенной группы художественных смыслов, через которые выражается отношение поэта к своему времени и власти, но и включают в себя *обязательную* модель соответствующего публичного поведения, во-первых, именно в пространстве Москвы как центра средоточия власти и, во-вторых, непременно в качестве главного поэта эпохи — богоизбранного певца-пророка, обладающего исключительным

правом осуществлять легитимацию или дискредитацию образа властителя и существующего государственного порядка. Кроме того, в биографическом подтексте инварианта изначально заложен мотив неоправдавшихся надежд и разочарования в «новой действительности». Сужение этой инвариантной схемы до параметров только гражданской лирики и мотивов примирения с государственным порядком вещей значительно упрощает и обедняет интерпретационный диапазон как самих пушкинских текстов, так и созданных впоследствии на основании данной жанровой конфигурации произведений русских поэтов XX в.

Пушкинский инвариант в «Стансах» О. Э. Мандельштама

Начало 1930-х гг. для поэта ознаменовано выходом из периода пятилетнего лирического молчания. Поездка в Армению дала надежду на открытие «второго поэтического дыхания», однако Мандельштам не покидает чувство оставленности своим читателем. Как справедливо отмечает А. С. Кушнер, «он потерял читателя: его читатель, петербуржец десятых годов, оказался отменен революцией, погиб или очутился в эмиграции. <...> Его темы не созвучны эпохе. Никакой комсомолец — герой современной поэзии — не воспламенится любовью к стихам “С миром державным я был лишь младенчески связан...”». “Египетской маркой” — прозой Мандельштама — тоже. <...> Критика им не интересовалась или называла “насквозь буржуазным поэтом”, а Маяковский, например, по свидетельству Алексея Крученых, в 1929 году сказал: “Жаров наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже, чем Мандельштам”. В 1933 году ленинградский журнал “Звезда” опубликовал “Путешествие в Армению”, разгромленное в “Литературной газете” и “Правде» [Кушнер].

Иными словами, эту ситуацию можно охарактеризовать как утрату собственной поэтической идентичности: если с точки зрения поэтики она была в начале 1930-х г. найдена, то возможность произнесения *общественно значимого* слова для Мандельштама после 1933 г. оказалась категорически исключена. Поэтому, как считает А. С. Кушнер, и «<...> нужен был неслыханный поступок, способный вернуть ему самоуважение и привлечь всеобщее внимание, из “обоза”, из “архива”, из акмеистической лавки древностей вырваться “на передовую линию огня” — произнести самое актуальное слово, сказать в стихах то, о чем все думают, но не смеют заявить вслух, — и сгореть в этом огне» [Кушнер]. Особенно остро почти насильственный отрыв от своего времени и чувство собственной «ущербности» воспринимаются еще и потому, что даже на фоне своих не менее одаренных «провиденциальным зрением» современников — Блока, Гумилева, Ахматовой — Мандельштам отличался исключительной чуткостью к любым вибрациям времени. Достаточно вспомнить, что по-настоящему первым в русской поэзии лирическим откликом на события октябрьского переворота 1917 г. стала не поэма Блока «Двенадцать» (январь 1918 г.),

а мандельштамовское стихотворение «Кассандре», написанное месяцем ранее.

Разумеется, Мандельштам не мог не понимать, что единственным «конкурентом» Поэзии за право произнесения в публичном пространстве такого *авторитетного* слова является Власть: регулярная воспроизводимость этого противостояния давно стала архетипическим сюжетом не только русской, но и мировой изящной словесности. Бережный «переемник» пушкинской традиции, он хорошо знал, что обе эти инстанции единоприродны и генетически восходят к одному и тому же метафизическому источнику. По примеру Державина, Жуковского и Пушкина, Мандельштам отдавал себе также отчет и в том, что окончательная подлинность лирического дарования в русской поэтической практике устанавливается через отношение, в первую очередь, к несправедливой власти — признание или непризнание ее нравственной легитимности, санкционированности свыше. Прекрасно осознавал и то, что положение поэта во внутренней «табели о рангах», в «иерархии дарований» в итоге определяется тем же — способностью произнести такое слово, значимость и непрерываемость которого будет признана даже самой Властью. Симптоматично в этом смысле признание, сделанное Мандельштамом А. А. Ахматовой в феврале 1936 г. в Петровском сквере Воронежа: «Поэзия — это власть <...> раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит, она — власть...» [Мандельштам 1999а: 199–200]. То же Мандельштам говорил тогда С. Б. Рудакову: «Поэтическая мысль вещь страшная, и ее боятся <...> Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся» [Ежегодник: 68]. Словом, ситуация, в которой оказывается Мандельштам в начале 1930-х гг., отчасти сопоставима с пушкинской середины 1820-х — когда поэт оказывается фактически исключен из литературного процесса на протяжении уже шести лет, а его статус двусмыслен, если не сказать больше — не определен.

Создание воронежских и савёловских «Стансов» Мандельштама имеет важную в контексте наших рассуждений предысторию. В ноябре 1933 г. написано стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...» — через месяц после получения двухкомнатной квартиры в писательском кооперативном доме в Нащокинском переулке, по поводу которого так неосторожно высказался Пастернак: «Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи» [Мандельштам 1999а: 177]. Приступ «ярости» от этих слов (в передаче Н. Я. Мандельштам: «Ты слышала, что он сказал?») [Мандельштам 1999а: 177]) вызван тем, что Мандельштам почувствовал в этот момент принадлежность к разряду «советских писателей». А. С. Кушнер замечает: «Получилось так: свою отверженность, свое изгойство, которыми тоже можно гордиться, будучи замечательным поэтом, противопоставляя их советскому признанию, компенсируя им обиду, он променял на квар-

тиру в писательском доме, уподобился тем, кого презирал» [Кушнер]. Причем текст не просто пишется «в стол». Поражает не столько его гибельное для автора содержание, сколько «самоубийственное» поведение после его написания: Мандельштам *намеренно* не делает из этого текста тайны, не передает его под «страшным секретом» близким и проверенным людям (как поступила Ахматова с «Реквиемом»), а сознательно выносит в «общественное пространство» — чтение двум десяткам слушателей в сталинское время равносильно публичному выступлению. Среди многочисленных возможных причин подобного прилюдного «самоубийственного акта» главной все-таки представляется попытка самореабилитации перед лицом — не читателя, конечно: читателей у этих стихов не могло быть а priori, и даже не литературного сообщества: на внимание и уважение со стороны «советского профсоюза писателей» в подобной ситуации надеяться не приходилось, но перед лицом Поэзии как той высшей инстанции, которая наделяет поэта метафизической властью слова, избирает его своим пророком (или священнослужителем), наделяет его самого духовным авторитетом, а его слова высшей и непререкаемой легитимностью. Иначе говоря, для Мандельштама не столько написание этого стихотворения, сколько именно его публичное чтение становится способом идентификации в качестве главного поэта современности и обличителя несправедливой власти.

Такое поведение находит удивительное по своей точности соответствие с поведением Пушкина в 1826 г. после аудиенции с Николаем I. И. В. Немировский, изучая выбранные поэтом сценарии и стратегии публичного поведения, обращает внимание на один чрезвычайно важный в контексте наших рассуждений факт: общепризнанная и распространяемая самим Пушкиным версия разговора с Николаем сводится к «чудесному помилованию», но умалчивает о том, что речь в нем велась также о неких «предосудительных стихах», распространяемых среди молодежи. Как отмечает Немировский, «разговор с императором Николаем <...> содержал в себе момент оправдания, но Пушкин не рассказывал об этом современникам в своих устных новеллах» [Немировский: 212]. Далее исследователь ссылается на письмо Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому из Москвы в Германию от 20 сентября 1826 г. (т. е. написано всего через 12 дней после разговора с государем, а значит, с высокой долей вероятности, содержит в себе еще не редуцированные самим поэтом для «публичного пространства» и устных «новелл» рефлексии после этой встречи), суть которого сводится к следующему: обретенная поэтом в результате разговора с Николаем свобода была следствием данных поэтом объяснений по поводу не пропущенных цензурой строф «Андрея Шень», ходивших в обществе в виде отдельного списка, озаглавленного «На 14 декабря» [Немировский: 212–213]. Но даже после принесенных

государю объяснений и, вероятно, обещания не способствовать распространению «возмутительных» стихов, Пушкин тем не менее читает друзьям и знакомым в октябре-ноябре 1826 г. не пропущенные цензурой строфы как отдельное стихотворение уже после разговора с царем, что и стало поводом для привлечения поэта к следствию об «Андрее Шенье» в начале 1827 г. Причем простой неосторожностью поведение Пушкина спустя всего лишь месяц после столь важного для него разговора с царем объяснить не получается: текст «предосудительных» стихов читался на публике неоднократно. Ближе всего к пониманию подобной стратегии поэтического поведения, как нам кажется, подошел И. В. Немировский: «Из сказанного понятно, какое большое значение поэт придавал своему пророческому дару» [Немировский: 213]. Другими словами, Пушкин создает прецедентную схему особого публичного поведения, которая, несмотря на систему официальных запретов, призвана позиционировать себя в публичном пространстве как поэта-пророка, обладающего «божественным даром», идентифицировать себя в качестве «божественного певца», т. е. той властной инстанции, которая в соответствии с архетипической схемой придает его текстам метафизическую авторитетность.

В контексте этой аналогии «самоубийственный акт» Мандельштама не может восприниматься как проявление отчаяния или подступающего безумия. Напротив, он выглядит сознательно выбранной стратегией именно пророческого, а не литературного, поведения по аналогии с Пушкиным. В этом смысле слова, произнесенные Мандельштаму Пастернаком, оказываются изумительно точны: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт» [Кушнер]. К поэзии, уточним, в пастернаковском ее понимании («Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдом» [Пастернак]), но не мандельштамовском, где «поэзия — это власть, если за нее убивают». В подобной системе координат поэзия, действительно, такой же «не литературный факт», как и власть, но зато факт бытийный, онтологический, утверждающий особый статус поэта не в словесности как таковой, а в мироздании в целом. Осознанная аналогия с пушкинскими стратегиями поведения в этом поворотном моменте мандельштамовской биографии находит убедительное подтверждение и в наблюдениях И. З. Сурат над другими эпизодами жизни поэта: «Путешествие в Армению» и «Путешествие в Арзрум» «<...> неслучайным образом оказываются родственны во многих отношениях — для Мандельштама путешествие на Кавказ было в немалой степени сознательным последованием Пушкину и в биографическом плане, и в творческом» [Сурат 2018]. Равно как и «когда воронежской зимой 1937 года Мандельштам пишет:

“Куда мне деться в этом январе?”, он осознанно отсылает читателя к январю тому, столетней давности, когда развивалась трагедия, приведшая Пушкина к гибели» [Сурат 2018].

Находит своеобразные смысловые параллели в судьбе Мандельштама и пушкинский мотив чудесного, едва ли не сказочного помилования властителем, когда ссылка в Чердынь была заменена мягким вариантом наказания с правом выбора места его отбывания, да еще и в сопровождении супруги. Думается, именно в этой связи в стихотворении «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» появляются фольклорные мотивы «сухонятной русской сказки»: «Тема сказки и сказочного чуда возникает в этих стихах неслучайно — мягкий исход следствия, ссылка в Чердынь и последующая жизнь в Воронеже воспринимались Мандельштамами как чудо, как высочайшая милость взамен расстрела» [Сурат 2009: 199]. Аналогия с судьбой Пушкина усиливается в этом эпизоде биографии Мандельштама еще и образом неизбежно ожидаемой казни. Напомним, что поэту XIX в. весна и лето 1826 г. внушали очень серьезные опасения быть привлеченным к судопроизводству по делу декабристов. Так, 10 июля Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Если б я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и кажется это не к добру» [Пушкин 1962: 236]. Ожидание самых тягостных последствий разбирательства нашло отражение и в рукописях поэта. Безусловно, Мандельштам не мог не знать о рефлексиях Пушкина о возможной казни и рисунке виселицы с шестью повешенными, сопровождаемом дважды начатой, но не завершенной поэтом стихотворной строкой «И я бы мог...» из так называемой третьей масонской тетради: первым правильно ее прочел и опубликовал фототипическое изображение С. А. Венгеров в Собрании сочинений Пушкина в издании Брокгауза-Ефрона еще в 1908 г. Не могло быть незнакомо Мандельштаму и приписываемое Пушкину легендарное четверостишие из предполагаемого обличительного цикла стихотворений под общим названием «Пророк», который Пушкин якобы намеревался «швырнуть» в лицо Николаю Павловичу при личной встрече в случае своего ареста в Москве:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
Иди — и с вервием на выи и пр. [Пятковский: 674].

Для нас сейчас не являются принципиально важными конъектуры прочтения последней строки или атрибуция фрагмента в целом. Существенно то, что авторство этих строк приписывалось Пушкину во многом благодаря общему контекстуальному ассоциативному ряду, образуя некое «общее место» московской пушкинской мифологии. Для нас важным оказыва-

ется обыгрывание в этих источниках мотива собственной казни, который находит аналогию в поэтическом мифотворчестве самого Мандельштама.

О том, что поэт очень хорошо представлял себе именно смертельные последствия публичного чтения стихов «Мы живем, под собою не чуя страны...» и готовил себя к худшему, свидетельствуют воспоминания А. А. Ахматовой: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”» [Ахматова: 40]. То мужество, с которым он встретил майский арест 1934 г., подтверждает эту готовность: «Следователь при мне нашел “Волка” и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра» [Ахматова: 43].

Думается, именно эта отчетливая параллель с судьбой Пушкина, круто изменившейся после высочайшего помилования в сентябре 1826 г., пронзительность «ясной догадки» о переключке с судьбой «главного опального поэта» понуждают Мандельштама в том же стихотворении «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» к единственной прямой во всем его творчестве отсылке к образу Пушкина, где, вопреки мандельштамовскому сакральному отношению к его имени, он назван по фамилии: «Пушкина чудный товар» [Мандельштам 1994: 93]. Разумеется, такое «сказочное» помилование от властителя-соименника не может не вызывать благодарности, поскольку под знаком искренней признательности в подобной жизненной ситуации выстраивались отношения Пушкина с новым царем. В записке управляющего Е. И. В. канцелярии М. Я. фон Фока, осуществлявшего личный надзор за А. С. Пушкиным, зафиксировано высказывание поэта на одном из литературных вечеров в октябре 1827 г.: «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь, и, что гораздо более, — свободу: виват!» [Разговоры: 98]. Подобное же обыгрывание своего сыновства по отношению к властителю, как и мотив возвращения блудного сына под родительский кров, встречается впоследствии и у Мандельштама в так называемой «Оде» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...», 1937), адресованной Сталину: «...вдруг узнаешь отца / И задыхаешься, почуяв мира близость <...> Не огорчить отца / Недобрым образом иль мыслей недобором» [Мандельштам 1994: 112–113]. Разумеется, подобная глубинная идентичность жизненных обстоятельств способствует разворачиванию Мандельштамом продолжения «пушкинского сценария» — написанию воронежских «Стансов», работа над которыми начинается практически синхронно с окончанием стихотворения «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» — в мае 1935 г.

Пушкин в этой ситуации выступает не просто способом оправдания действительности, на что совершенно справедливо указывает И. З. Сурат: «Если Пушкину есть место в этой жизни, то и самому поэту найдется в ней

место. Пушкин объединяет поэта с его доброжелательными конвоирами и помогает примириться с выпавшей на его долю эпохой. В произведениях Мандельштама 1935 года можно найти еще несколько подобных случаев «оправдания Пушкиным», контрастного совмещения советской реальности с отсылками к Пушкину» [Сурат 2009: 204–205], — не только «<...> призван как авторитет, как исторический и поэтический прецедент лояльности, к которой так стремится теперь Мандельштам <...>» [Сурат: 2009: 246–247]. Автор воронежских «Стансов», как представляется, на глубинном уровне воспроизводит сценарий *и литературного, и жизненного* поведения Пушкина. Во всяком случае биографические аналогии с «главным русским поэтом», по нашим наблюдениям, в этот период предшествуют литературным аллюзиям на пушкинские тексты, а может быть, и предопределяют их, придавая стихотворениям дополнительное — «четвертое», по выражению самого поэта, смысловое измерение.

Подобие с пушкинским инвариантом угадывается и в безуспешной попытке опубликовать «Стансы» непременно в Москве. Находящейся в столице супруге 25–26 мая 1935 г. Мандельштам отправляет автографы нескольких стихотворений, предназначавшихся к печати: «Мне кажется, мы говорить должны...», «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...», «Идут года железными полками...», «Еще мы жизнью полны в высшей мере...» и «Мир должно в черном теле брать...» [Мандельштам 1999б: 158]. А через письмо (конец мая 1935 г.) в срочном порядке просит: «К “подборке” прибавь “Стансы” плюс “Железо”. Выясни печатание. Для Москвы условие: все или ничего. Широкий показ цикла. Хорошо бы в Литгазете. Все варианты окончательные. Только в начале Стансов могут быть изменения, но давай так. Мне сейчас необходима прямая литературная связь с Москвой» [Мандельштам 1999б: 159].

На первый взгляд, это желание кажется странным: Мандельштам, «кровно» и культурно связанный с Петербургом, казалось бы, мог в первую очередь рассчитывать на публикацию или хотя бы благосклонное внимание редакторов именно в городе на Неве. Как пишет в «Листках из дневника» А. А. Ахматова, «<...> в то время (1933 г.) Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград: Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский (Григорий Александрович Гуковский был у Мандельштамов в Москве) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962 год)» [Ахматова: 38]. Если в «младшей столице» его еще продолжали любить и помнить, то «<...> в Москве Мандельштама никто не хотел знать, и, кроме двух-трех молодых ученых-естественников, Осип Эмильевич ни с кем не дружил. (Знакомство с Белым было коктебельского происхождения). Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин

и их “красавиц жен”. Союзное начальство вело себя подозрительно и сдержанно» [Ахматова: 39]. Однако, как отмечает И. З. Сурат, еще «с 1931 года Петербург окончательно уходит в прошлое для Мандельштама, настоящее теперь прочно связано с Москвой, и все его попытки найти себе место в советской жизни привязаны к Москве (“Полночь в Москве”, “Еще далеко мне до патриарха...”, “Сегодня можно снять декалькомани...”, 1931, “Стансы”, 1935)» [Сурат 2009: 87].

Конечно, стремление опубликоваться именно в «непотребной столице» Евразии продиктовано соображениями общественно-политическими: только в «эпицентре государственной власти» произнесенное слово сможет обладать высшей авторитетностью. Отсюда, думается, проистекает и та категоричность, с которой даются письменные инструкции Н. Я. Мандельштам: «Для Москвы условие: *все* или ничего» [Мандельштам 1999б: 159]. Однако нельзя не учитывать и столь важную для поэта пушкинскую аналогию, связанную со «Стансами»: не прожив после освобождения из Михайловской ссылки в Москве и года, Пушкин «спасается бегством» в доброжелательный к нему Петербург, но стихотворения «В надежде славы и добра...», «Друзьям» и «Пророк» готовил к публикации в «Московском вестнике» во враждебной к нему «старшей столице».

В воронежский период, после отложенной, по мнению самого поэта, казни, в его стихах гораздо отчетливее, чем прежде, начинают звучать и профетические мотивы. В частности, в тех же «Стансах» 1935 г. в несколько неожиданном газетно-идеологическом контексте возникает аллюзия к пушкинскому «Пророку»: «Я слышу в Арктике машин советских стук...» [Мандельштам 1994: 96]. «Последний стих, — по наблюдениям И. З. Сурат, — заставляет вспомнить о тайнослышании, данном пушкинскому пророку — “И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье...”» [Сурат 2009: 253]. Однако в полной мере эта провиденциальная лирическая способность Мандельштама даст о себе знать в произведениях 1937 г.: сначала он предугадывает собственную безымянную смерть в «Оде» («Уходят вдаль людских голов бугры: / Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят» [Мандельштам 1994: 114], провидчески указывает на место, где она случится, в стихотворении «Я в львинный ров и в крепость погружен...» (начало стихотворения адресует нас не только к образу ветхозаветного пророка Даниила, брошенного царем Дарием на 6 дней в ров с голодными львами, но и содержит описание одного из вероятных мест захоронения поэта — старого *крепостного рва* вдоль речки Саперки), а затем предупреждает об ужасах грядущей общечеловеческой «бойни» в «Стихах о неизвестном солдате».

Если у Пушкина поворотным моментом биографии становится аудиенция у государя, инициированная — что для нас особенно важно! — по-

следним, а эквивалентом «встречи с властителем» у Пастернака является телефонный разговор со Сталиным, то в случае с Мандельштамом ни встречи, ни телефонного разговора не произошло, но инвариантная схема ее предполагает — схема, в полной мере реализованная Пушкиным, схема, в соответствии с которой Мандельштам 30-х гг., особенно после написания стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...», выстраивает стратегии своего жизненного и поэтического поведения и, смею предположить, надеется на встречу со Сталиным (или хотя бы телефонный разговор с ним, как в случае с Пастернаком). Отсюда, думается, и настойчивые мотивы «сокращения дистанции с вождем», особенно в годовщину столетия смерти Пушкина — в январе-феврале 1937 г. В стихотворении «Средь народного шума и спеха...» Мандельштам гипотетически представляет едва ли не чудесное проникновение в святая святых для личной покаянной беседы со Сталиным (что не может не вызывать аналогии с фактом пушкинской биографии: аудиенции в Чудовом монастыре Кремля между Николаем Павловичем и Пушкиным):

И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел [Мандельштам 1994: 118].

Здесь же, в подтексте, реализуется еще один комплекс переживаний, связывающий прочной аналогией образы Мандельштама и Пушкина, — комплекс вины и искреннего раскаяния. В «Оде» этот мотив «сближения» будет актуализирован через образ близнечной связи с властителем.

После окончания воронежской ссылки в 130 км от Москвы в начале июля 1937 г. пишутся савёловские «Стансы», где «дорога к Сталину» оказывается уже настолько трудной, что надежда на «аудиенцию» у «августейшей особы» оказывается все призрачней даже для самых ярых сталинистов:

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен... [Мандельштам 1994: 142].

«Сквозь чащу прозвищ и имен» Мандельштаму прорваться уже не было суждено: это стихотворение, собственно, знаменует окончательный отказ от надежд на личную встречу или хотя бы разговор с вождем — больше этот диалог с властью не возобновлялся. Разговор с Пушкиным — тоже.

Выводы. На основе прецедентных текстов А. С. Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») и «Друзьям» в статье реконструирована

инвариантная схема данной жанровой разновидности как модель отношений поэта к власти и современности. В качестве парадигмальных структур рассмотрены не только внутритекстовые смысловые связи, но и сценарии публичного поведения поэта в московском локусе как «эпицентре власти». Столетие спустя свои отношения с современностью в соответствии с этим жанровым инвариантом выстраивает О. Мандельштам. Распределение ключевых смыслов и оценок осуществляется им в рамках исходной пушкинской парадигмы — не только художественной, но и поведенческой, что свидетельствует о сознательном позиционировании себя в публичном идеологическом и государственном пространстве в качестве преемника Пушкина.

Литература

Ахматова А. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Биографическая проза. Pro domo sua. Рецензии. Интервью. Москва: Эллис Лак, 2001. 800 с.

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме / Отв. ред. Т. С. Царькова. Санкт-Петербург: Академический проект, 1997. 407 с.

Калашников С. Б. Метасюжет «поэт vs государь» в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер.: Филологические науки. 2012. № 2. С. 126–129.

Калашников С. Б. Сюжеты распознавания истинного и ложного царя в творчестве А. С. Пушкина 1824–1826 годов // Пушкинские чтения — 2018. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст: Материалы XXIII Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2018. С. 9–19.

Кушнер А. С. «Это не литературный факт, а самоубийство» // Новый мир. 2005. № 7. С. 132–146 URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2005/7/eto-ne-literaturnyj-fakt-a-samoubijstvo.html.

Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 2. Москва: Слово/Slovo, 1999. 544 с.

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Москва: Согласие, 1999. 552 с.

Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3: Стихотворения. Проза. Москва: Арт-Бизнес-Центр, 1994. 527 с.

Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Письма. Москва: Арт-Бизнес-Центр, 1999. 607 с.

Михайлова Н. И. О стихотворении Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») и «Друзьям» // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2009. № 3. С. 31–35.

Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. Санкт-Петербург: Гиперион, 2003. 352 с.

Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография URL: http://russofile.ru/articles/article_77.php.

Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. Москва: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. Москва: Гослитиздат, 1959. 799 с.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. Москва: Гослитиздат, 1962. 495 с.

Пяткин С. Н. Стансы как диалог с властью: Пушкин, Есенин, Мандельштам // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 8 (38): В 2 ч. Ч. I. С. 152–156.

Пятковский А. П. Пушкин в Кремлевском дворце в 1826 г. // Русская старина. 1880. Т. 27. С. 673–675.

Разговоры Пушкина: Репринт, воспроизведение изд. 1929 г. Москва: Политиздат, 1991. 318 с.

Сурат И. З. Два путешествия: Мандельштам и Пушкин // Урал. 2018. № 7. С. 195–215 URL: <https://magazines.gorky.media/ural/2018/7/dva-puteshestviya-mandelsham-i-pushkin.html>.

Сурат И. З. Мандельштам и Пушкин. Москва: ИМЛИ РАН, 2009. 384 с.

Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. Москва: Сов. писатель, 1984. 368 с.

References

Akhmatova A. A. Sbranie sochinenij: V 6 t. T. 5: Biograficheskaya proza. Pro domo sua. Recenzii. Interv'yu. Moskva: Ellis Lak, 2001. 800 s.

Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1993 god. Materialy ob O. E. Mandel'shtame / Otv. red. T. S. Czar'kova. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 1997. 407 s.

Kalashnikov S. B. Metasyuzhet “poet vs gosudar” v “Borise Godunove” A. S. Pushkina // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Ser.: Filologicheskie nauki. 2012. № 2. S. 126–129.

Kalashnikov S. B. Syuzhety raspoznavaniya istinnogo i lozhnogo czarya v tvorchestve A. S. Pushkina 1824–1826 godov // Pushkinskie chteniya — 2018. Khudozhestvennye strategii klassicheskoy i novoj slovesnosti: zhanr, avtor, tekst: Materialy XXIII Mezhdunar. nauch. konf. Sankt-Peterburg: LGU, 2018. S. 9–19.

Kushner A. S. “Eto ne literaturnyj fakt, a samoubijstvo” // Novyj mir. 2005. № 7. S. 132–146 URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2005/7/eto-ne-literaturnyj-fakt-a-samoubijstvo.html.

Letopis' zhizni i tvorchestva A. S. Pushkina: V 4 t. T. 2. Moskva: Slovo/Slovo, 1999. 544 s.

Mandel'shtam N. Ya. Vospominaniya. Moskva: Soglasie, 1999. 552 s.

Mandel'shtam O. E. Sbranie sochinenij: V 4 t. T. 3: Stikhotvoreniya. Proza. Moskva: Art-Biznes-Centr, 1994. 527 s.

Mandel'shtam O. E. Sbranie sochinenij: V 4 t. T. 4: Pis'ma. Moskva: Art-Biznes-Centr, 1999. 607 s.

Mikhajlova N. I. O stikhotvorenii Pushkina "Stansy" ("V nadezhde slavy i dobra...") i "Druz'yam" // *Izvestiya RAN. Ser. literatury i yazyka.* 2009. № 3. S. 31–35.

Nemirovskij I. V. Tvorchestvo Pushkina i problema publicnogo povedeniya poeta. Sankt-Peterburg: Giperion, 2003. 352 s.

Pasternak E. B. Boris Pasternak. Biografiya URL: http://russofile.ru/articles/article_77.php.

Proskurin O. A. Poeziya Pushkina, ili Podvizhnyj palimpsest. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 1999. 462 s.

Pushkin A. S. Sbranie sochinenij: V 10 t. T. 2. Moskva: Goslitizdat, 1959. 799 s.

Pushkin A. S. Sbranie sochinenij: V 10 t. T. 9. Moskva: Goslitizdat, 1962. 495 s.

Pyatkin S. N. Stansy kak dialog s vlast'yu: Pushkin, Esenin, Mandel'shtam // *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki.* Tambov: Gramota, 2014. № 8 (38): V 2 ch. Ch. I. S. 152–156.

Pyatkovskij A. P. Pushkin v Kremlyovskom dvorce v 1826 g. // *Russkaya starina.* 1880. T. 27. S. 673–675.

Razgovory Pushkina: Reprint, vosproizvedenie izd. 1929 g. Moskva: Politizdat, 1991. 318 s.

Surat I. Z. Dva puteshestviya: Mandel'shtam i Pushkin // *Ural.* 2018. № 7. S. 195–215 URL: <https://magazines.gorky.media/ural/2018/7/dva-puteshestviya-mandelsham-i-pushkin.html>.

Surat I. Z. Mandel'shtam i Pushkin. Moskva: IMLI RAN, 2009. 384 s.

Ejdel'man N. Pushkin. Istoriya i sovremennost' v khudozhestvennom soznanii poeta. Moskva: Sov. pisatel', 1984. 368 s.

Сведения об авторе: Сергей Борисович Калашников; кандидат филологических наук; доцент; Московский городской педагогический университет; доцент кафедры русской литературы института гуманитарных наук; ORCID 0000-0002-9521-476X; sergeyk34@gmail.com; сфера научных интересов: русская поэзия XVIII–XXI вв.

The author's profile: Sergei Borisovich Kalashnikov; Candidate of Philology; Associate Professor; Moscow City University; Associate Professor at the Russian Literature Department of the Institute of Humanities; ORCID 0000-0002-9521-476X; sergeyk34@gmail.com; research interests: Russian poetry of 18–21 centuries.